



“Большой террор” 1937 года, или в просторечии “тридцать седьмой”, — одно из тех событий, которые определяют ход истории. Как и всякое явление такого рода, “тридцать седьмой” не поддаётся однозначной интерпретации. Работа видного историка, д. и. н., члена-корреспондента РАН Вардана Багдасаряна привлекает тем, что в ней рассмотрено более десятка концепций “большого террора”. После всестороннего анализа автор отдаёт предпочтение взгляду, высказанному в работах В. В. Кожина.

**ВАРДАН БАГДАСАРЯН,
доктор исторических наук**

ЗАГАДОЧНЫЙ “ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ”

ОПЫТ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

В массовом сознании сложился стереотип о 1937 годе как апогее сталинского террора. Дата приобрела нарицательный смысл. К ней зачастую апеллируют в назидательных целях, предостерегая власти от авторитарных устремлений: “Опять вернемся к тридцать седьмому”. А между тем репрессивная волна 1937 года уступала по своим масштабам иным периодам активной карательной политики, таким, как, скажем, коллективизация. Она имела вполне определенную адресную направленность, будучи акцентирована на высшей партийной прослойке, и в сравнительно меньшей степени касалась народных масс.

Р. Такер определяет террор 1936–38 гг. как “величайшее преступление XX века”¹. Но почему была избрана превосходная степень оценки? Число жертв коллективизации было значительно больше. Очевидно, американского исследователя смущали не столько масштабы кровопролития, сколько соотносящаяся с репрессиями идеологическая трансформация режима. Сталин, признается Р. Такер, “предусматривал возникновение великого и могучего советского русского государства”². Так что же, на поверку историографические штампы оборачиваются тривиальной русофобией и страхом Запада перед реанимацией “русской угрозы”?

Уже не в ельцинское время, а в 2004 году О. В. Хлевнюк пишет о “большом терроре” как ключевом событии советской истории. Таким образом, ниже его по значению оказываются для автора и революция, и Гражданская, и Отечественная войны, и коллективизация...³

О мифотворческой парадигме 1937 года рассуждал в преамбуле “Архипелага ГУЛАГ” А. И. Солженицын: “Когда... бранят произвол культа, то упираются все снова и снова в настрывшие 37 – 38-й годы. И так это начинает запоминаться, как будто ни до не сажали, ни после, а только вот в 37 – 38-м. Между тем, “поток” 37 – 38-го ни единственным не был, ни даже главным...”

Но мужики – народ бессловесный, бесписьменный, ни жалоб не написали, ни мемуаров... А поток 37-го года прихватил и принес на Архипелаг также и людей с положением, людей с партийным прошлым, людей с образованием... и сколько с пером! – и все теперь вместе пишут, говорят, вспоминают: тридцать седьмой! Волга народного горя!”⁴

Н. Я. Мандельштам также противопоставляла “узкословную трагедию 1937 года” народной драме. Она негодовала на советскую интеллигенцию, еще недавно, на I съезде писателей (1934 г.), славившую победителей. Интеллигентов, – возмущалась вдова поэта, – ужаснул только “тридцать седьмой год”, отнявший у них плоды победы. Всё, что происходило до 37 года, считалось закономерностью и вполне разумной классовой борьбой, потому что крошили не “своих”, а “чужих”...”⁵ Характерно, что самого О. Э. Мандельштама она не относил к генерации жертв тридцать седьмого.

В многоспекторной историографии сталинизма был предложен ряд каузальных моделей “большого террора” и сталинской партийной чистки. Предлагается поучительным рассмотреть их одну за другой.

МОДЕЛЬ “САМОИСТРЕБЛЕНИЯ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ”

“Свои убивали своих”, – сформулировала парадокс “большого террора” бывшая диссидентка, а впоследствии эмигрантка Р. Д. Орлова⁶.

Одним из первых концептуализировал сталинские партийные чистки в качестве исторического возмездия известный публицист-эмигрант В. Л. Бурцев. Идентифицируя большевиков как изменников делу революции, он уже в 1938 г. писал: “Историческая Немезида карала их за то, что они делали в 1917–1918 гг. и позднее... Невероятно, чтобы они были иностранными шпионами из-за денег. Но они, несомненно, всегда были двурушниками и предателями – и до революции, и в 1917 г., и позднее, когда боролись за власть со Сталиным...” Сталин же, по оценке Бурцева, по отношению к представителям “старой ленинской гвардии” “не проявил никакого особенного зверства, какого бы все большевики, в том числе и сами ныне казненные, не делали раньше... Сталин решил расправиться с бывшими своими товарищами, поскольку “чувствует, что в борьбе с Ягодами он найдет оправдание и сочувствие у пострадавших народных масс”⁷.

Внутрипартийная борьба рассматривалась в качестве преломления синдрома победителей. Придя к власти, бывшие соратники переключились на борьбу друг другом. Много писалось о кроносовском архетипе революций. Самоистребление революционеров-победителей преподносилось, таким образом, как явление закономерное и универсальное. Логика Французской революции в очередной раз экстраполировалась на российский исторический контекст. Популярным в перестроечные годы было уподобление сталинизма описанному Ф. М. Достоевским феномену “шигалевщины”. “Нужна и судорога, – говорил герой “Бесов”, – раз в тридцать лет... все вдруг начинают поедать друг друга”.

“Абсурдность” сталинизма А. С. Ахиезер усматривает в том, что “несмотря на невиданную в истории мясорубку”, “именно в этот период единство народа и власти достигло высшей точки”. Данный парадокс объясняется причастностью к террору абсолютного большинства населения. Народ парадоксальным образом явился соучастником самоистребления⁸. “Со смертью Сталина, резюмировал А. С. Ахиезер свои рассуждения о природе сталинизма, закончился самый парадоксальный этап в истории страны, возможно, в истории человечества. Он мог возникнуть лишь в исключительных обстоятельствах. Массовое самоизбиение людей было лишь внешним симптомом глубокого внутреннего саморазрушения, которое назревало и шло уже давно и теперь дошло до критической точки. Лавина новизны, которая особенно усилилась в XX веке, встретила нараставший отпор, наиболее ярким выражением которого был террор. В терроре была своя логика. Его удары шли по всем группам общества без исключения, и здесь было полное “равенство”. Но в каждой группе они наносились, прежде всего, по тем людям, которые были выше среднего уровня, обладали особым знанием и умением. Это чрезвычайно важное, до сих пор недооцененное обстоятельство. Оно действительно для любого сообщества. Это касалось и правящей элиты, где террор неуклонно однозначно оставлял наименее компетентных. Селекцию террора наверху, как

правило, могли пройти лишь по-своему “выдающиеся люди”, способные не задумываясь вести страну в пропасть”⁹.

События 1937 г. оцениваются зачастую через призму рубрики “возмездие настигает палачей”. “Для такой чистки, – злорадствовал А. И. Солженицын, – нужен был Сталин, да, но и партия же была нужна такая: большинство их, стоявших у власти, до самого момента собственной посадки безжалостно сажали других, послушно уничтожали себе подобных по тем же самым инструкциям, отдавали на расправу любого вчерашнего друга или соратника. И все крупные большевики, увенчанные теперь ореолом мучеников, успели побыть и палачами других большевиков”¹⁰.

По свидетельству В. В. Кожина, еще на рубеже 1950–1960-х гг. в среде консервативно ориентированной части интеллигенции 1937 год оценивался как “великий праздник” – “праздник исторического возмездия”. Стоящий на либеральных позициях Д. Самойлов высказывал впоследствии сходные оценки: “Тридцать седьмой год загадочен. После яacobинской расправы с дворянством, буржуазией, интеллигенцией, священством, после кровавой революции сверху (был страх, но не было жалости), произошедшей в 1930–1932 годах в русской деревне, террор начисто скосил правящий слой 20–30-х годов. Загадка 37-го в том, кто и ради кого скосили прежний правящий слой. В чьих интересах совершился всеобщий самосуд, в котором сейчас можно усмотреть некий оттенок исторического возмездия. Тех, кто вершил самосуд, постиг самосуд”¹¹.

Впрочем, следует заметить, что теория возмездия подразумевает признание некоего высшего неотвратимого закона, в результате действия которого наказание настигает лиц, совершивших преступление. Судьба палачей заканчивается на эшафоте. Странно, что люди далекие от религиозного понимания истории снова и снова апеллируют к Немезиде.

С данной моделью объяснения коррелируется концепт о “стихийности террора”. Отстаивавшее его, в противовес позиции об инспирированности репрессий, историографическое направление получило условную маркировку в качестве “ревизионистского”. Террор преподносился как тотальная война всех против всех. Будучи развязан на низовом уровне в периферии, он породил турбулентный поток, охвативший затем и центральные органы власти. “Ревизионисты” отрицают наличие у Сталина какого бы то ни было плана осуществления репрессивной политики. Генсек сам оказался заложником террора, вышедшего из-под контроля центральной власти¹².

Одной из разновидностей теории “стихийного террора” является современный концепт о том, что к развязыванию массового террора Сталина принудила региональная партийная элита. Руководители местных парторганизаций призывали к уничтожению антисоветских элементов, опасаясь проиграть предстоящие выборы в Советы, которые впервые должны были проводиться в условиях всеобщего избирательного права и процедурно при тайном голосовании. Выход был найден в физическом устранении конкурентов¹³. В российской историографии в формате данного концепта представлены исследования Ю. Н. Жукова¹⁴. При условиях дальнейшей разработки сюжета о зависимости репрессивной политики от лоббирования региональной элиты можно говорить о перспективе складывания самостоятельной модели объяснения.

МОДЕЛЬ “СТАЛИНСКОЙ УЗУРПАЦИИ ВЛАСТИ”

В соответствии с ней размах политических репрессий во второй половине 1930 года сводится к борьбе Сталина за установление режима единоличной власти. Осуществился окончательный переход от коллегиальной к авторитарной модели управления. Длительный путь Сталина к вершине политического Олимпа был завершён только в 1937 году. Разгром ленинской гвардии преследовал цель уничтожения среды для выдвижения потенциальной альтернативы вождю¹⁵. Внутрипартийная подспудная борьба шла все 30-е годы. Не уничтожь Сталин потенциальных оппонентов, он бы сам мог оказаться жертвой. Представители “ленинской гвардии”, как известно, не испытывали чувства сентиментальности к противникам. Подвергнув критике ряд системных версий мотивировки сталинского террора, Р. А. Медведев приходит к выводу, что “не следует слишком усложнять эти мотивы, главным из которых было непомерное честолюбие и властолюбие Сталина. Эта всепоглощающая

жажда власти появилась у Сталина, конечно, раньше 1936 года. Хотя влияние его уже к началу 30-х годов было огромно, он хотел безграничной власти и абсолютной покорности. Он понимал вместе с тем, что поколение партийных и государственных руководителей, сложившееся в годы подполья, революции и гражданской войны, никогда не станет абсолютно покорным Сталину. Они были также причастны к созданию большевистской партии и Советского государства и требовали своей доли в руководстве партийными и государственными делами. Но это не устраивало Сталина¹⁶. “Почему так случилось? – рассуждал о генезисе “большого террора” Дж. Хоскинг. – Несомненно, что вначале Сталин намеревался уничтожить всех, кто когда-либо противостоял ему или предположительно мог бы противостоять (этим хоть как-то можно объяснить причины уничтожения кадров НКВД и офицерского корпуса, единственной социальной группы, где могла родиться мысль бросить вызов Сталину). Для Сталина было невыносимо само существование людей, которые были просто товарищами Ленина, тех, кто мог знать о его завещании¹⁷”.

МОДЕЛЬ “ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ”

Культ личности сменился со временем инфернализацией Сталина. “Большой террор” преподносится как явление по своей сути иррациональное. Мотивы репрессий связывались с маниакальной подозрительностью вождя. Сталин характеризовался как человек конспирологической психоментальности. Ему повсюду мерещились заговоры, стремлением предотвратить которые и объяснялась организация партийных чисток. По существу применительно к Сталину репродуцировалась модель личностно-психологической интерпретации генезиса опричного террора Ивана Грозного. Сущность сталинизма сводилась, таким образом, к психическим качествам субъекта высшей власти. В методологическом отношении данная модель объяснения мало чем отличалась от сталинской апологетики. Место героя занимал антигерой. В обоих случаях объективность исторического процесса нивелировалась посредством выдвижения на первый план личностного фактора¹⁸.

По сути, к проявлению личных качеств Сталина сводилось объяснение “большого террора” в знаменитом хрущевском докладе на XX съезде партии. Репрессии, говорил Н. С. Хрущев, явились следствием “культа личности”, приведшего к “сосредоточению необъятной, неограниченной власти в руках одного лица”, требовавшего “безоговорочного подчинения его мнению. Тот, кто сопротивлялся этому или старался доказывать свою точку зрения, свою правоту, тот был обречен на исключение из руководящего коллектива с последующим моральным и физическим уничтожением... жертвами деспотизма Сталина оказались многие честные, преданные делу коммунизма, выдающиеся деятели партии и рядовые работники партии¹⁹”. Лейтмотивом сформулированной позиции было стремление отделить партию от не оправдавшего ее доверия лидера.

Сталин оказывается фактически единственным виновником внутрипартийного погрома и в интерпретации А. В. Антонова-Овсеенко. “Большой террор” породили, по его мнению, присущие генсеку “всепожирающая месть и неутолимая злоба²⁰”.

В личности Сталина выявляются некие психологические особенности, через призму которых объясняется ход истории. С позиций художественного жанра такая трактовка была апробирована, в частности, драматургом М. Шатровым. Злопамятство Сталина явилось едва ли не основным мотивом интерпретации партийных чисток в современной литературе. Психоаналитическая методика реконструкции биографии Сталина составила основу исследования Р. Такера. Доминирующей чертой сталинского характера определяется синдром “поиска славы”. Власть была для него не целью, а лишь средством утверждения своей популярности. От партии генсек ожидал постоянного подтверждения своего идеального образа и посредством чисток превращал ее в такую структуру, которая бы полностью удовлетворяла этой потребности²¹. Акцентировка внимания на личности Сталина других исследователей также подспудно вела к личностной трактовке феномена сталинизма²². Особый интерес в этой связи представляет попытка Б. С. Илизарова выявить восприятие Сталиным исторических и литературных персонажей как проявления личностной самоидентификации. “Историософия сталинизма” сводится по существу к сталинской историософской рефлексии²³.

МОДЕЛЬ “ОБМАНУТЫЙ ВОЖДЬ”

Мнение о том, что Сталин был в неведении в отношении творящегося в стране беззакония ввиду своей очевидной наивности, не могло сложиться в историографический концепт. Оно циркулировало, главным образом, на уровне массового сознания, а потому репрезентуется как модель лишь с определенной долей условности. Генезис мифа об обманутом Сталине объясним с точки зрения социальной психологии. Таким образом смягчалось нравственное потрясение, вызванное у бывших сталинистов разоблачением культа личности. Сублимировался дуальный архетип социальной памяти: “праведный царь” – “витийствующие бояре”. Ответственность за организацию репрессий переносилась со Сталина на его ближайшее окружение.

Кто же мог ввести вождя в заблуждение? Ответ на этот вопрос неизменно выводил на новую актуализацию шпиономании и поиск замаскировавшихся “врагов народа”. Репрессии, получалось, были правильны по сути. Требовалось лишь скорректировать их адресную направленность. Вместо Н. И. Бухарина и М. Н. Тухачевского на скамье подсудимых должны были оказаться Л. П. Берия и Л. М. Каганович.

Характерно, что версию об обманутом Сталине отстаивала дочь вождя Светлана Аллилуева. “Как это мог отец?” – спрашивала она себя, пытаясь выяснить мотивы уничтожения им ряда родственников и близких друзей, и сама же отвечала: “Я знаю лишь одно: он не смог бы додуматься до этого сам... Отцу можно было внушить, что этот человек не хороший, как мы думали о нем много лет, нет, он дурной, он лишь казался хорошим, а на деле он враг, он противник, он говорил о вас дурно, и вот материалы, вот факты, X и Y “показали” на него... А как уж могли эти X и Y “показать” все что угодно в застенках НКВД – в это отец не вникал. Это уж было дело Берии, Ежова и прочих палачей, получивших от природы свой профессиональный дар... Удивительно, до чего отец был беспомощен перед махинациями Берии... Я говорю не случайно о его, Берии, влиянии на отца, а не наоборот. Я считаю, что Берия был хитрее, вероломнее, коварнее, наглее, целеустремленнее, тверже – следовательно, сильнее, чем отец. У отца были слабые струны – он мог сомневаться, он был проще, его можно было провести такому хитрецу, как Берия”²⁴.

Другие шли еще дальше, пытаясь представить Ежова и Берию руководителями законспирированных антисоветских организаций, резидентами иностранных разведок. “Грубость и болезненная подозрительность, – утверждал И. Верховцев в книге, вышедшей вскоре после завершения XXII съезда КПСС, – оказались на руку иностранным разведкам, а также карьеристам, авантюристам, враждебным элементам, пробравшимся в советские органы безопасности и начавшим в массовом порядке фабриковать одно за другим дела об измене и предательстве руководящих работников партии”²⁵. Высланная в свое время из СССР по обвинению в шпионаже американская журналистка А. Л. Стронг объясняла сталинские репрессии в отношении честных коммунистов результатом проникновения в ГПУ нацистской “пятой колонны”²⁶. Частичные реабилитации 1939–1941 гг. оцениваются некоторыми авторами как следствие прозрения Сталина относительно достоверности предоставляемой ему Н. И. Ежовым информации.

Изучение реального хода многих следственных дел сталинской эпохи не позволяет усомниться в иницирующей их осуществление роли генерального секретаря. Порою он осаждал излишне ретивого Н. И. Ежова, тогда как в других случаях он призывал его действовать более решительно и жестоко. На XXII съезде КПСС утверждалось, что лично Сталиным было подписано около 400 списков-проскрипций. При просмотре подписных документов некоторые из фамилий им вычеркивались, что свидетельствует о своеволии в определении приговоренных²⁷.

МОДЕЛЬ “СТАЛИНСКОГО ТЕРМИДОРА”

По горячим следам межпартийной борьбы в среде левой оппозиции был сформулирован концепт сталинского термидора. Он составил основу выдвинутой Л. Д. Троцким теории “преданной революции”. В качестве доказательств сталинской контрреволюции Лев Давидович ссылаясь на следующие

метаморфозы 1930-х годов: отмена ограничений, связанных с социальным происхождением; установление неравенства в оплате труда; реабилитация семьи; приостановка антицерковной пропаганды; восстановление офицерского корпуса и казачества и т. п.²⁸

Оказавшийся с 1938 г. невозвращенцем, один из бывших руководящих деятелей НКВД А. Орлов заявлял впоследствии, что начиная с 1934 г. среди “старых большевиков” доминировало убеждение об измене Сталина революции. Происходящие в стране события оценивались ими как торжество реакции. “Они, – утверждал Орлов, – втайне надеялись, что сталинскую реакцию смоеет новая революционная волна... они помалкивали об этом. Но... молчание рассматривалось как признак протеста”²⁹. Другой невозвращенец В. Кривицкий также взывал из-за границы о том, что в СССР кремлевские власти проводят “ликвидацию революционного интернационализма, большевизма, учения Ленина и всего дела Октябрьской революции”³⁰. От признания существования латентной оппозиции сталинизму было недалеко и до признания вероятным и даже необходимым складывание антисталинского заговора.

Характерную реакцию “левого крыла” партии на происходящие перемены представляют гневные слова литературно-партийного функционера А. А. Берзинь, высказанные ею в 1938 г.: “В свое время в гражданскую войну я была на фронте и воевала не хуже других. Но теперь мне воевать не за что. За существующий режим я воевать не буду... В правительство подбираются люди с русскими фамилиями. Типичный лозунг теперь – “мы русский народ”. Всё это пахнет черносотенством и Пуришкевичем”³¹.

В качестве подтверждения тезиса о сталинской контрреволюции используются свидетельства о симпатиях к происходящим политическим процессам представителей царского офицерства. “Я счастлив, – заявлял один из них. – Тюрьмы полны евреями и большевиками”. Л. Разгон сообщал, что услышал эту фразу от М. С. Рощаковского³². Согласно Р. А. Медведеву, не Разгон, а М. Б. Кузнец оказался свидетелем ее произнесения³³. “Неужели вы не понимаете, – завершал свою мысль офицер, – что речь идет о создании в России новой династии”³⁴.

Перестроечная корректировка ортодоксального советского марксизма привела к реанимации концепта о сталинском термидоре. С позиций социал-демократического ревизионизма культ личности Сталина имел мелкобуржуазную природу. Социалистическая революция в стране с преобладающим мелкотоварным укладом экономики представляла собой забегание вперед, форсирование исторического процесса. Следствием игнорирования объективных условий социально-экономического развития должен был стать политический откат. Сталинский внутривнутрипартийный погром характеризовался как скрытая контрреволюция.

Сталинизм в перестроечные годы осуждался с реанимированной плехановской платформы. И. М. Клямкин в статье с названием-перифразом из культового фильма Т. Абуладзе “Покаяние”: “Какая улица ведет к храму?” – представлял сталинский термидор как неизбежное следствие формационного несоответствия России уровню построения социалистического общества. Незрелость экономических и социальных отношений, громадное преобладание мелкобуржуазного и добуржуазного крестьянства делали утверждение командно-административной системы исторической неизбежностью³⁵. Теория о мелкобуржуазном откате СССР парадоксальным образом объединяла позиции левомарксистских и правомарксистских критиков сталинизма.

Впрочем, версию о сталинском термидоре разделяли не только марксисты. Посредством ее объяснял, к примеру, происходящие в СССР репрессии весьма далекий от троцкизма Г. П. Федотов. Он от души приветствовал проводимую сверху контрреволюцию. “Начиная с убийства Кирова (1 декабря 1934 г.), – констатировал мыслитель, – в России не прекращаются аресты, ссылки, а то и расстрелы членов коммунистической партии. Правда, происходит это под флагом борьбы с остатками троцкистов, зиновьевцев и других групп левой оппозиции. Но вряд ли кого-нибудь обманут эти официально пришиваемые ярлыки. Доказательства “троцкизма” обыкновенно шиты белыми нитками. Вглядываясь в них, видим, что под троцкизмом понимается вообще революционный, классовый или интернациональный социализм... Борьба... сказывается во всей культурной политике. В школах отменяется или сводится на нет политграмота. Взамен марксистского обществоведения восстанавли-

вается история. В трактовке истории или литературы объявлена борьба экономическим схемам, сводившим на нет культурное своеобразие явлений... Можно было бы спросить себя, почему, если марксизм в России приказал долго жить, не уберут со сцены его полинявших декораций. Почему на каждом шагу, изменяя ему и даже издеваясь над ним, ханжески бормочут старые формулы?.. Отречься от своей собственной революционной генеалогии было бы безрассудно. Французская республика 150 лет пишет на стенах “Свобода, равенство, братство”, несмотря на очевидное противоречие двух последних лозунгов самим основам ее существования. Революция в России умерла. Троцкий наделал много ошибок, но в одном он был прав. Он понял, что его личное падение было русским “термидором”. Режим, который сейчас установился в России, это уже не термидорианский режим. Это режим Бонапарта”³⁶ Сталинские репрессии рассматривались через логотип Французской революции. По мере данной экстраполяции Сталин отождествлялся с Наполеоном. А от обнаружения русского Бонапарта было недалеко до надежд на российскую монархическую реставрацию.

В. В. Кожин отмечал, что почти половину жертв сталинской партийной чистки составляли “герои коллективизации”, победители в войне с крестьянством. Акцентировка на данном факте позволяла трактовать тридцать седьмой год как контрудар крестьянской страны. К 1939 году из причастных к коллективизационным процессам кандидатов в члены ЦК партии уцелел лишь один человек (Юркин)³⁷.

Концептуально как контрколлективизация сталинские репрессии репрезентируются Р. Такером. Согласно его оценке, директивы вождя с 1935 г. приобретают “прокрестьянскую окраску”. Проект “Октябрьской революции на селе” провалился. Осознав его неудачу, Сталин занял позицию, противоположную той, на которой сам находился в 1929 году. Вопреки прежней классовой нетерпимости, он заявлял, что “не все бывшие кулаки, белогвардейцы или попы враждебны Советской власти”³⁸. В то же самое время, подчеркивает Р. Такер, когда звучали призывы к толерантному отношению к прежним записным врагам социализма, большевики гибли тысячами³⁹. Диссонансом с “атмосферой умиротворенности” в деревне преподносятся Р. Такером политические катаклизмы в городах. “Для верхнего и среднего слоев городского населения, — развивает он указанное сопоставление, — наступила пора страшных страданий. Аресты приняли характер эпидемии”⁴⁰.

Почему же большевики, воспринимавшие историю через призму опыта Французской революции и более всего опасавшиеся повторения её сценария, всё-таки допустили термидор? По мнению Э. Карра, они ошиблись в идентификации “грядущего Бонапарта”, приняв за него Троцкого. Сталину же было отдано предпочтение как человеку в наименьшей степени из всех претендентов на высшую партийную власть, напоминающему Наполеона⁴¹.

МОДЕЛЬ “МОДИФИКАЦИИ ВОСТОЧНОЙ ДЕСПОТИИ”

Согласно этой концепции, сталинские репрессии представляли собой очередную модификацию восточного деспотизма. Западная марксистская теория оказалась скорректирована российской действительностью. Сталинская система определялась А. Л. Яновым как рецидив “иванианы”⁴². Образ Сталина уподоблялся фигуре Ивана Грозного. Оба они выступают как индикаторы российского исторического процесса в целом. “Большой террор”, таким образом, преподносился в качестве очередного повторения опричнины. Идеологема “Сталин — это Ленин сегодня” подменялась формулой “Сталин — это Грозный сегодня”. Популярностью в этой связи пользовались свидетельства об интересе генерального секретаря к личности монарха. Р. Пайпс рассматривал сталинизм в контексте логики развития “полицейского государства” в России⁴³.

Исследователь из Пенсильванского университета М. Левин оспаривает утверждение Л. Д. Троцкого о сталинизме как эманации бюрократизма. Сталинская модель, по его мнению, сочетала парадигмы “аграрного деспотизма” и “государственно-бюрократической монополии”. Большая чистка конца 1930-х годов была направлена против партийного и государственного чиновничества. Мобилизационный характер функционирования сталинской системы вступал в противоречие с бюрократической рутинизацией. Левин даже на-

зывает Сталина “бюрократическим антихристом”. Размышляя о “невероятности” сталинизма, автор выходит на широкие теоретические обобщения об институционально-функциональных парадоксах развития государственной системы СССР: “Деспотизм не может обойтись без шоковых методов управления, бюрократия же не может работать в таких условиях. Деспотизм развивает иерархию, но иерархия не может поддерживать деспотизм, так как последний отрицает сугубую ее значимость. Деспотизм действует произвольно и, охватывая всю систему, развращает аппарат, подрывает его уверенность в себе и способность функционировать как орган власти и одновременно как ее держатель. Хотя деспотизм и зависит от бюрократии, но доверять он ей не может. Элитаризация и иерархизация власти наблюдались повсюду. Многочисленные “парадоксы”, присущие сталинизму, на деле были порождением мощных и противоречивых сил, которые и сделали эту систему “невероятной” и неспособной решать жизненно важные государственные задачи. Она была сосредоточена на борьбе с тем, что составляло главные ее достоинства, и не в состоянии была дать отпор негативным тенденциям в своем развитии”⁴⁴.

МОДЕЛЬ “АНТИСТАЛИНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ”

Авторы, придерживающиеся этой теории, считают, что по отношению к сталинизму реально существовала умеренно-демократическая оппозиция. На ее разгром и было направлено острие сталинских репрессий. О. В. Хлевнюк датирует формирование оппозиционного течения в партии 1932 годом. Указание Политбюро 1936 года, что органы внутренних дел опоздали с разоблачением заговора на четыре года, служит подтверждением данной датировки⁴⁵. Зарождение демократической оппозиции Хлевнюк объясняет как несогласие со сталинскими насильственными методами коллективизации⁴⁶. Предпринимаются попытки ведения антисталинской пропаганды в ВКП(б). Впрочем, тот факт, что в результате чистки пострадали наиболее ретивые коллективизаторы, упускается автором из виду.

“Дело” Рютина явилось одним из проявлений роста оппозиционных настроений. Оно, по мнению С. Коэна, продемонстрировало наличие умеренного крыла в Политбюро, противостоящего сталинскому курсу единовластия. Дебаты о судьбе М. Н. Рютина оцениваются им в качестве “поворотного пункта политического развития 30-х гг.”. Именно тогда, утверждает С. Коэн, столкнувшись с сопротивлением, Сталин принял “твердое решение избавиться от всех ограничений, которыми связывали ему руки тогдашняя большевистская партия, ее руководящие кадры и политические традиции”⁴⁷.

Апогеем внешнего проявления оппозиционных настроений в отношении Сталина исследователями однозначно оценивается XVII съезд ВКП(б)⁴⁸. По мнению О. В. Хлевнюка, на съезде была предпринята попытка оппозиции отстранить Сталина легальным путем, забаллотировав при выборах в ЦК. В исчезнувших 166 бюллетенях для голосования депутатов, скорее всего, полагает исследователь, была вычеркнута его фамилия. Как скрытое осуждение сталинского курса оценивается и принятое съездом решение об отказе от авантюризма “больших скачков” в экономике. Предоставление возможности выступления со съездовской трибуны лидерам прошлых оппозиций – Каменеву, Зиновьеву, Преображенскому, Ломинадзе, Томскому, Рыкову также рассматривается как показатель неустойчивого положения генерального секретаря⁴⁹. О. Р. Лацис обращает внимание на альтернативное в отношении к внешнеполитическому разделу отчетного доклада генсека выступление Н. И. Бухарина⁵⁰.

В диссонанс со сложившимися стереотипами О. В. Хлевнюк пишет об инакомыслии в сталинские годы, причем не только на уровне партийной элиты, но и рядовых членов общества. Приводимые им многочисленные факты позволяют дифференцировать “официальный культ” и общественное восприятие Сталина. “В общем, – резюмирует О. В. Хлевнюк, – утверждение сталинской системы совсем не напоминало шествие победителей, а походило скорее на тяжелые изнурительные бои с более слабым, но отчаянно сопротивляющимся противником. Бои, в которых приходилось неоднократно отступать, довольствоваться меньшим, чем намечалось в приказах командования, а то и вовсе обходить слишком уж неподдающиеся укрепления. Сформировавшаяся в результате этого система, наряду с преобладанием административно-репрессивных начал, сохраняла в себе инородные вкрапления, своеоб-

разные ниши, где хоть и под спудом, но функционировали элементы иной, объективно антисталинской формации. Репрессии и чистки так и не искоренили до конца инакомыслие, критиков “генеральной линии”⁵¹.

МОДЕЛЬ “КАДРОВОЙ РОТАЦИИ”

Большая партийная чистка представляла собой одну из возможных форм организации кадровой ротации. Ее необходимость обуславливалась тенденцией бюрократического перерождения советского режима. Репрессивная волна обрушилась на партийную верхушку, отступившую от идеалов революции. Из партработников высшего звена формировалось некое привилегированное сословие, новый эксплуататорский класс. Сталинизм, таким образом, интерпретируется не как проявление советского бюрократизма, а, напротив, средство его предотвращения.

С точки зрения эмигрантского автора И. Дейчера, сталинские партийные чистки лишь визуально были направлены против троцкистов и бухаринцев. В действительности Сталин вел борьбу с государственной бюрократией. Посредством перманентного террора “он постоянно ликвидировал эмбрион нового класса”⁵².

Не более чем номенклатурной ротацией, заменой одной генерации бюрократов на другую считает сталинские партийные чистки М. С. Восленский. Молодые карьерные номенклатурщики попытались потеснить предшествующее поколение представителей номенклатурного класса. Причем не только они были призваны Сталиным, но и сам генеральный секретарь являлся их выдвиженцем. При всей кажущейся абсолютной власти Сталина на него, как на лидера номенклатурной системы, ими оказывалось существенное воздействие. “В 1937 году, – рассуждает Восленский, – через 20 лет после Октябрьской революции – ленинская гвардия профессиональных революционеров была весьма немолода. Но до естественного ухода ей оставалось еще примерно полтора десятка лет, если не больше. Этих-то лет жизни ей и не хотели давать обосновавшиеся в разных звеньях номенклатуры карьеристы, метившие на занятые постаревшими революционерами высшие посты. Номенклатурная дружина образовалась, прошла суровую школу и научилась властвовать. Осталось ликвидировать “двурешников” – ленинскую гвардию. Зачем же ежовщина? Затем, что в ВКП(б) к этому времени оказалось как бы две гвардии: сталинская и ленинская. Сталинская состояла из назначенцев, отобранных по “политическим признакам”, а ленинская – из занимавших свои посты по праву членов организации профессиональных революционеров. Сместить ленинцев – не несколько отдельных лиц, а весь слой – обычным путем было невозможно. Чтобы уничтожить стариков, было только одно средство: полностью растоптать их авторитет, превратить длительность их пребывания в партии и участие в ее деятельности на многих этапах из заслуги в потенциальное преступление. Здесь и пригодилась характерная сталинская мысль о том, что высокопоставленный революционер вполне может на деле вести двойную игру, оказаться шпионом и предателем. Сталин отлично видел, как взращенные им номенклатурщики со злобной завистью поглядывают на чуждых и антипатичных им дряхлеющих ленинцев... Сталин сознавал, что нужен только сигнал – и его выкорышки бросятся волчьей стаей и перегрызут глотки этим слабоватым, а потому незаконно занимающим руководящие посты старым чудакам”⁵³.

Идеологически логика периодического применения механизма репрессий в отношении партийно-государственной бюрократии была обоснована впоследствии Мао Цзедунем. По маоистской теории закон буржуазного перерождения власти обуславливает проведение коммунистических революций со средней периодичностью раз в пятнадцать лет. Пребывающий более четырех лет на чиновничьем посту партийный работник превращается в бюрократа. А потому постоянная ротация высших партийных кадров есть превентивная мера по сохранению коммунистической природы государства. Опытный руководитель, полагают китайские коммунисты, это не столько профессионал, сколько потенциальный коррупционер. Не случайно в советской историографии эпохи застоя анализ феномена сталинизма осуществлялся косвенно через дозволенную критику маоистского Китая⁵⁴.

Буржуазное разложение бывших героев революции и Гражданской войны достигло к середине 1930-х годов столь значительных масштабов, что стало

составлять угрозу для всех коммунистических завоеваний. Писатель В. Красильщиков вкладывает в уста Сталина, дискутирующего с Г. К. Орджоникидзе, следующее рассуждение: “Наши сановники губят наши благие начинания на корню путем чисто чиновничьего убийства живого дела... Объявляю им войну не на жизнь, а на смерть, до полного истребления – или я, или они. Можем ли мы либеральничать, когда в стране беспорядок, неорганизованность, недисциплинированность?... Бюрократизм, хаос, ляпанье... Коррупция – уголовно наказуемое злоупотребление служебным положением. Семейственность и протекционизм, которые народ не прощает, которыми тычет нам в нос: “Блат выше Совнаркома!” Можем ли мы допускать все это вообще и тем более зная, что до войны остаются считанные годы? Есть ли у нас время разбираться, какой удар необходим, а какой лишний? Можем ли мы позволить себе роскошь разбирательства, какой горшок поделом, а какой зря кокнули?”⁵⁵

Смысл репрессий отчасти раскрывается через их корреляцию с институциональной реорганизацией. Чистка в партии отнюдь не вела к усилению влияния партийных органов. Напротив, в сравнении с ними возростал статус государственных структур. Следовательно, можно сделать вывод, что репрессии были направлены против самой партии. О. В. Хлевнюк констатировал применительно к 1930-м годам тенденцию перемещения высшей власти из Политбюро в Совнарком. К началу войны, утверждал он, Политбюро “как регулярно действующий орган политического руководства... фактически было ликвидировано, превратившись, в лучшем случае, в совещательную инстанцию”⁵⁶.

Обличение сталинских репрессий расценивается в рамках репрезентуемой модели, как проявление ностальгии потомков репрессированных партаппаратчиков по утраченному привилегированному статусу. В результате отпрыски ряда видных большевиков подались в диссиденты. Наименование “дети Арбата” стало нарицательным для обозначения отстраненной в 1930-е гг. от партийной кормушки отцов-номенклатурщиков “золотой молодежи”⁵⁷.

Недостатком данной концепции является игнорирование факта массовых репрессий, сведение “большого террора” к внутрипартийным разборкам. Но, как справедливо замечает О. В. Хлевнюк: “Если бы дело ограничилось только уничтожением бывших оппозиционеров, партийно-государственных функционеров и военных, мы вряд ли бы имели основания говорить о “большом терроре”. Более уместными были бы иные определения, например “большая кадровая чистка”, “номенклатурная революция” и т. д.”⁵⁸.

Репрессии 1937–1938 гг. обрушивались далеко не на одних партийных работников, а, по мнению ряда исследователей, опирающихся на архивы ФСБ, и не столько на них. По данным, приводимым В. Н. Хаустовым, в 1939 г. в качестве “подозрительных” в НКВД учитывалось 18 категорий населения, представители которых и составляли адресную направленность жертв террора⁵⁹.

МОДЕЛЬ “ОХОТЫ НА ВЕДЬМ”

Советская система была подведена к грани духовного надлома, и логика скорейшего преодоления кризиса требовала “сбросить пары”. Репрессии служили средством оправдания временных трудностей строительства социализма. Имеющиеся неудачи преподносились народу как следствие предательства. События 1937 года, таким образом, объяснялись как результат проведения своего рода социальной психодиагностики. Сублимировались архетипы античной практики остракизма и средневековой “охоты на ведьм”. Для партии требовалось, чтобы лидеры оппозиции публично признались перед народом в совершении чудовищных преступлений. Поэтому, как пишет А. Кестлер, многие убежденные в коммунистических идеалах несгибаемые большевики оговаривали себя. Не только жизнь, но и свою собственную репутацию приносили они на алтарь служения революции⁶⁰.

МОДЕЛЬ “ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭМАНАЦИИ”

“Большой террор” явился эманацией сталинской идеологии. Лейтмотивом публицистики перестроечных лет выступал концепт о “деформированном”, “казарменном”, “деспотическом” социализме. Сталин обвинялся в извращении ленинского понимания природы социалистического общества. Отступление от ленинизма обусловило расправу с “верными ленинцами”, хра-

нителями незамутненной марксистской традиции⁶¹. А. Ципко связывал генезис сталинского террора с идеологической абсолютизацией, верой в “чистый социализм” и идеального строителя социалистического общества. Сталинизм, таким образом, оценивался как своеобразный вид коммунистического утопизма. От ленинского направления, по мнению Ципко, он отличался утратой диалектичности, отступлением на позиции руссоизма⁶². Выступивший по “горячим следам” статьи Ципко Б. Арбузов определял парадигму сталинизма “идеологией Единственной Правильности”. “А дальше, – раскрывает автор логику принятия монополии на истину, – расправа со своими единомышленниками: вакханалия репрессий обрушилась на рабочих, на коммунистов – от рядовых до руководителей самого высокого ранга. Она объясняется прежде всего тем, что Единственная Правильность обязательно требует своей персонализации. Раз правильность единственна, единственным должен быть и ее пророк. В терроре, с наибольшей интенсивностью осуществлявшемся начиная с 1934 года, конечно, в максимальной степени проявились личные качества Сталина: подозрительность, коварство, мстительность, безмерная жажда власти. Но переход от уничтожения по-настоящему несогласных к уничтожению потенциально сомневающимся и затем к расправе с теми, кто мог помешать созданию монолита единственно правильной доктрины, к становлению величайшего вождя как ее персонализации, выглядит вполне логичным следствием идеологии нетерпимости”⁶³.

Модное в перестроечные годы противопоставление ленинской и сталинской систем сменилось в постсоветский период их уподоблением. Уже весной 1990 г. тот же А. Ципко сформулировал новый подход, ставший в дальнейшем базовым для либеральной историографии сталинизма⁶⁴. Весь опыт построения советской системы как в ее сталинской, так и ленинской вариациях являлся исторической девиацией. Истоки “казарменности” следует искать у К. Маркса. Сама по себе теория коммунизма, сформулированная в “Манифесте коммунистической партии”, предопределяла насильственную парадигму в попытках его реализации.

МОДЕЛЬ “ЭТАТИЗАЦИИ РЕВОЛЮЦИИ”

“Большой террор” был объективно предопределен логикой государственного строительства. Революционные кадры оказывались лишними в построившуюся эпоху. По мере укрепления государственности все более обнаруживался их антагонизм по отношению к формируемой государственной системе. Победив в 1917 году, они по-прежнему отождествляли себя с революционной властью и отказывались признавать новые реалии. Сам переход от революционной эпохи к государственной предопределил, таким образом, их истребление. В. В. Кожин приписывал авторство данного концепта Георгию Гачеву. Сходные мысли обнаруживались им и в дневнике М. С. Пришвина за 1935 г.: “Несколько дней занимает меня мысль о том, что всякая мораль имеет внутреннее стремление превратиться в учреждение. Замечательный пример – конец Горького: превратился в учреждение... Так всё движение интеллигенции, даже и анархистское, таило в себе государство, и умерла интеллигенция, и государство стало могилой интеллигенции”⁶⁵.

Перспектива мировой революции оказалась в глазах прагматически мыслящей части большевиков призрачной. Идея строительства социализма в одной стране противоречила марксистскому пониманию природы всемирного коммунистического строительства. Удержаться у власти представлялось возможным, лишь вернувшись к дореволюционным имперским формам существования России. Б. И. Николаевский в доказательство сталинского поворота апеллировал к секретному Постановлению Политбюро ВКП(б) от 24 мая 1934 года, протоколы которого попали в распоряжение немцев. Вероятность фальсификации не противоречит отражению в ней логики трансформации большевистского режима. “ВКП(б), – указывалось в документе, – должна временно отказаться от самого своего идейного существования для того, чтобы сохранить и укрепить свою политическую власть над страной. Советское правительство должно на время перестать быть коммунистическим в своих действиях и мероприятиях, ставя себе единственной целью быть прочной и сильной властью, опирающейся на широкие народные массы в случае угрозы извне”⁶⁶.

В. Сироткин оценивает сталинские репрессии второй половины 1930-х годов как идеологический крах Коминтерна. Фактическое упразднение данной структуры являлось лишь делом времени⁶⁷.

Даже американский исследователь, правовед Ю. Хаскли, несмотря на весь сентиментализм западной историографии в отношении жертв сталинских репрессий, характеризовал их самих в качестве адептов правового нигилизма. Напротив, событиями 1930-х годов он датировал переход от классового к государственному правосознанию. Практика Гражданской войны не предполагала обязательного вынесения “приговора”. Она исходила из революционной целесообразности, а не юридических нормативов. Парадоксально, что период сталинских репрессий, традиционно оцениваемых в качестве апогея тоталитарного бесправия, объявляется Хаскли закатом эпохи правового нигилизма. Расправа с предполагаемыми противниками режима осуществлялась, в отличие от времен Гражданской войны, при формальном соблюдении юридической процессуальности. Безусловно, материалы судебных процессов были сфабрикованы, но сам факт их осуществления отражал определенную правовую эволюцию советской системы. Постановление 17 ноября 1938 г. об упразднении всех несудебных органов стало важнейшей вехой происходившей трансформации⁶⁸.

МОДЕЛЬ “ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНВЕРСИИ”

Сталинские репрессии явились следствием смены внешнеполитической стратегии СССР. Они соотносятся с новой европейской реальностью – фактом создания “Третьего рейха”. Складывание геополитической оси Москва – Берлин приводило к изменению в пользу участников альянса баланса мировых сил. С определенного времени Сталин последовательно искал сближения с А. Гитлером. Меч репрессий был направлен против когорты старых большевиков, принципиально не принимавших союза с фашистами. Б. И. Николаевский датировал прогерманский поворот Сталина еще 1934 годом. Новая стратегия Кремля объяснялась им иллюзиями советского руководства, считавшего возможным предотвратить втягивание СССР в назревающую войну. Развивая концепт о внешнеполитической обусловленности сталинских репрессий, Николаевский писал: “Расправлялись со всеми, относительно кого могла возникнуть мысль, что они не примут идеи соглашения с гитлеровской Германией... Расправы особенно усилились, когда два крупнейших резидента НКВД за границей, работавшие в тесном контакте с аппаратом, не просто порвали с НКВД, но и начали выступать с разоблачениями в зарубежной печати. Это были Рейсс и Кривицкий... Оба они были евреями, и очевидно, что на их решение повлияли планы Сталина вступить в союз с воинствующим антисемитом Гитлером”⁶⁹. Замена М. М. Литвинова В. М. Молотовым на посту наркома иностранных дел явилась индикатором происходящих в СССР перемен. Углубляя конспирологическую составляющую представленной объяснительной модели, некоторые авторы утверждают о существовании поддержки противников Сталина со стороны западных демократий⁷⁰. Приводятся, в частности, свидетельства о попытках налаживания такого рода связей в 1936 г. Н. И. Бухариным⁷¹.

МОДЕЛЬ “ПРЕДВОЕННОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙЩИНЫ”

В соответствии с российской исторической традицией определяющее значение для внутренней политики имел военный фактор. Угроза мировой войны обусловила стремление Сталина обезопасить тыл. Репрессии обрушились на те элементы общества, от которых исходила потенциальная опасность для режима в случае развертывания на территории СССР военных действий. Террор парадоксальным образом оказывался одной из составляющих сталинского курса по укреплению обороноспособности государства. Характерно, что именно к такому объяснению тридцать седьмого года склонялся посвященный во многие закулисные стороны политики того времени В. М. Молотов. “1937 год, – говорил он в беседе с Ф. Чуевым, – был необходим. Если учесть, что мы после революции рубили направо-налево, одержали победу, но остатки врагов разных направлений существовали, и перед лицом грозящей опасности фашистской агрессии они могли объединиться. Мы обязаны 37-му году тем, что у нас во время войны не было пятой колонны”⁷².

В современной историографии данный концепт получил развитие в работах О. В. Хлевнюка. По его мнению, побудительным мотивом для Сталина к развертыванию репрессий послужил опыт войны в Испании, где не последнюю роль в поражении республиканцев сыграл фактор “пятой колонны”. Экстраполяция испанского опыта на СССР диктовала необходимость превентивной расправы с потенциальными предателями⁷³. Поскольку сами советские лидеры, рассуждает Хлевнюк, сумели захватить власть в военное время, они более всего опасались войны на два фронта – с внешним противником и внутренней контрреволюцией. “Как показывают многие факты, – заключает исследователь, – кадровые чистки и “большой террор” 1936–1938 гг. имели в основном единую логику. Это была попытка Сталина ликвидировать потенциальную “пятую колонну”, укрепить государственный аппарат и личную власть, насильственно “консолидировать” общество в связи с нарастанием реальной военной опасности (эскалация войны в Испании, активизация Японии, возрастание военной мощи Германии и ее союзников). Все массовые операции планировались как настоящие военные действия против врага, хотя еще не выступившего открыто, но готового сделать это в любой момент”⁷⁴.

МОДЕЛЬ “ЕВРЕЙСКОГО ПОГРОМА В ПАРТИИ”

Сталинские партийные чистки объясняются, прежде всего, национальным фактором. Сложившаяся в постоктябрьский период управленческая система была, по оценке ряда представителей консервативного направления в историографии, ориентирована на кооптацию в высшие эшелоны власти главным образом выходцев из еврейской среды. Сталинская партийная чистка имела преимущественно антисемитскую направленность. Сам Сталин являлся убежденным юдофобом. В кулуарных беседах он характеризовал партаппарат как “синагогу”, а партийную чистку уподоблял “еврейскому погрому”. Для его ближайшего единомышленника А. А. Жданова настольной книгой служили “Протоколы сионских мудрецов”. На эзоповом языке идеологических дискуссий под троцкизмом подразумевалось еврейское крыло партии. Популярностью в околополитических кругах пользовалась шутка следующего содержания. Вопрос: Чем Сталин отличается от Моисея? Ответ: Моисей вывел евреев из пустыни, Сталин – из Политбюро⁷⁵.

Обвинение в антисемитизме не преминул использовать в критике сталинской политики Л. Д. Троцкий. “В истории, – писал он, – трудно найти пример реакции, которая не была бы окрашена антисемитизмом. Этот особенный закон целиком и полностью подтверждается в современном Советском Союзе... Как могло быть иначе? Бюрократический централизм немислим без шовинизма, а антисемитизм всегда был для шовинизма путем наименьшего сопротивления”⁷⁶.

Даже Н. С. Хрущев неоднократно намекал в своих мемуарах на антисемитскую подоплеку сталинской партийной чистки. Антисемитизм ставился им в вину Сталину как коммунисту. “Берия, – утверждал Хрущев, – завершил начатую еще Ежовым чистку (в смысле уничтожения) чекистских кадров еврейской национальности”⁷⁷.

Версия о том, что жертвы репрессий определялись “пятым пунктом”, опровергается А. Ваксбергом, указывавшим на сохранение значительного представительства еврейских фамилий в аппарате НКВД-МГБ периода бериевского руководства⁷⁸. Тот факт, что “на протяжении 1940-х гг. роль евреев в карательных органах оставалась весьма заметной”, признается и в специальном исследовании Л. Ю. Кричевского⁷⁹. Согласно воспоминаниям П. Судоплатова, антисемитская чистка осуществлялась значительно позже, в 1951–52 гг., но никак не в 1937 г.⁸⁰ Г. В. Костырченко приходит к выводу, что в общем числе репрессированных “евреи занимали тогда одно из последних мест. Всего в 1937–38-м годах их было арестовано НКВД 29 тыс., что составляло приблизительно 1% от общей численности этого нацменьшинства”⁸¹.

МОДЕЛЬ “ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ОТТОРЖЕНИЯ”

Сталинские репрессии ознаменовали трансформацию советской системы в старорежимную. Опиравшаяся на западный идейный арсенал революция явилась отступлением от отечественной цивилизационной парадигмы. Стали-

низм же представлял собой модель возвращения к основам российской цивилизации. Для этого требовалось первоначально устранить космополитическую прослойку в высших эшелонах советской власти. “Большой террор” являлся в данной интерпретации походом национальных сил против интернационалистского засилья. Сталинский цивилизационно ориентированный концепт построения социализма в одной стране противопоставлялся идеологеме “мировой революции”. 1937 год в этом случае оценивается зачастую в качестве “консервативной революции”.

Попытки переосмыслить сталинизм с русских национальных позиций предпринимались еще в советские годы. Отношение к Сталину составляло критерий идейной дифференциации диссидентства. Если для либерального и социал-демократического течений генсек представлял фигурой однозначно inferнальной, то частью консервативного лагеря он позиционировался едва ли не спасителем России. Написавший в 1978 году труд с доказательством национальной составляющей сталинизма А. М. Иванов поплатился тюремным заключением и ссылкой за “антисоветскую пропаганду”. Стремление брежневской партноменклатуры реабилитировать Сталина ограничивалось существующими идеологическими трафаретами. Существенного переосмысления феномена сталинизма за рамками воспевания подвигов стахановцев и папанинцев не предполагалось.

А. М. Иванов писал о двух контрударах, нанесенных Россией по примазавшимся к революции антирусским силам. Первый датировался им 1926–1927 гг., второй – 1936–1938 гг. “События на внутреннем фронте, – рассуждал он, – как бы предваряли сценарий грядущей войны: враг под Москвой – отброшен, враг под Сталинградом – снова отброшен”⁸².

Кто же оказал наибольшее персональное влияние на идейную эволюцию Сталина в направлении национал-большевизма? Р. А. Медведев отводил эту роль А. Н. Толстому. Вернувшись на Родину, писатель якобы пытался раздуть царистские настроения у генсека. Автор “Петра Первого” внушал Сталину мысль своего статусного преемства от русских монархов.

Чаще всего вектор идеологической переориентации режима связывается с фигурой А. А. Жданова. А. М. Иванов идентифицирует его в качестве лидера “русской партии” внутри ВКП(б)⁸³. Напротив, в либеральной историографии Жданов изображается одним из столпов советского тоталитаризма. В перестроечные годы он более других представителей сталинского окружения (за исключением, пожалуй, руководителей НКВД) подвергался осуждению со стороны демократической публицистики. Впрочем, даже противники не отрицали высокого ждановского профессионализма. Так, к примеру, Р. Конквест ставил Жданову в заслугу восстановление основательности и эффективности старой русской системы образования, наложение вето на пагубные для нее эксперименты⁸⁴.

Война явилась фиксированным рубежом идеологической трансформации советской системы. Речь И. В. Сталина на параде 7 ноября 1941 г. ознаменовала выдвигание взамен революционно-интернационалистских государственно-патриотических идеологем. Отнюдь не всеми в партии лейтмотив сталинского выступления был воспринят позитивно. В опубликованном Р. А. Медведевым “Политическом дневнике” приводится письмо некоего ортодоксально мыслящего большевика, выразившего недоумение, почему генеральный секретарь в годовщину Октябрьской революции говорил не о Марксе и Либкнехте, а об Александре Невском и Суворове.

Идея о двух противоположных идеологических векторах – интернационал-коммунистском и национал-большевистском легла в основу интерпретации сталинских репрессий М. С. Агурским. Революция 1917 года имела не только социальную, но и этническую составляющую, ознаменовав победу национальных окраин над метрополией. Политическим выражением интернационал-коммунистической парадигмы стало преобладание во власти нерусских элементов. Однако с середины 1930-х годов возобладала противоположная тенденция. Под прикрытием чисток осуществился приход к власти новой кадровой прослойки, главным образом крестьянского происхождения, нивелировавшей в ней инородческие элементы. Трансформация 1930-х годов оценивалась М. С. Агурским как национальная реакция преимущественно славянской страны на космополитические эксперименты предшествующих десятилетий. Историческая роль Сталина виделась им в поднятии этой прослойки

до уровня государственной власти. Таким образом, чистки 1936–1938 годов М. С. Агурский характеризовал в качестве одного из последних этапов Гражданской войны в России⁸⁵.

М. М. Горинов пишет о “реставрационных” процессах второй половины 1930-х годов. Сталинская реставрация трактуется им как “возрождение тканей русского (российского) имперского социума”. Болезненность процесса, выраженная репрессивной политикой, обуславливалась мучительной трансформацией “старого большевизма”. Авторское объяснение представлено в рамках популярного концепта о догоняющем типе модернизации в России. В 1930-е годы происходит смена модернизационной парадигмы. Новая модель основывается не на “разрушении, а сохранении и развитии базовых структур традиционного общества”⁸⁶.

Контрреволюцией, осуществляемой по-революционному, характеризовал события 1937 г. В. В. Кожин. Логика цивилизационного отката обнаруживалась им и в других европейских революциях. В этом смысле сталинский поворот середины 1930-х годов оценивался как объективная реакция российской цивилизации на вызов космополитических инноваций. В отличие от многих исследователей сталинской тематики неоконсервативного направления, В. В. Кожин не склонен был видеть в Сталине потаенного патриота. Личностная эволюция вождя укладывалась в формат объективной трансформации режима.

Именно в переходе от ориентированной на личность вождя интерпретации 1937 года к рассмотрению “этого периода в контексте объективизированной заданности исторического процесса видится перспектива дальнейшей разработки версии “большого террора”⁸⁷. “Поворот”, начавшийся в середине 1930-х годов, – писал В. В. Кожин, – был всецело закономерным явлением: после любой революции через некоторое время совершается реставрация, как бы восстановление утраченного прошлого, – правда, именно “как бы”, поскольку реально восстановить прошлое невозможно, и дело идет, выражаясь точно, о восстановлении не прошлого, а связи с ним, о продолжении того ценного, что развивалось в прошлом”⁸⁸.

В целом кожиновские работы знаменуют собой начало преодоления установившегося в историографии с XX съезда хрущевского синдрома, методологически сводящего мегаисторическую парадигму осмысления генезиса сталинизма к банальному феномену “культы личности”. Впрочем, официальная историческая наука по-прежнему оперирует в основном упрощенным представлением о личностных мотивах сталинских репрессий. Теория В. В. Кожина игнорируется и замалчивается с позиций академического снобизма. Предпочтение в плане “научной раскрутки” отдается трудам, акцентированным на частных сюжетах кремлевской хроники.

* * *

Несмотря на декларируемый историографический плюрализм, тематика “большого террора” остается очерчена рамками идеологических табу. Ряд реконструированных объяснительных моделей тридцать седьмого года попросту не допущены в поле академической науки. Нет уверенности, что при очередной идеологической инверсии не произойдет смены приоритетного концепта. Необходима широкая полемика о сущности сталинизма, а не проводимые до сих пор под видом “дискуссии” пропагандистские кампании.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Т а к е р Р. Сталин у власти. История и личность. 1928–1941. М., 1997. С. 482.
2. Там же. С. 494.
3. Х л е в н ю к О. В. “Большой террор” 1937–1938 гг. как проблема научной историографии // Историческая наука и образование на рубеже веков. М., 2004. С. 433.
4. С о л ж е н и ц ы н А. И. Архипелаг ГУЛАГ. М., 2002. Т. 1. С. 12.
5. М а н д е л ь ш т а м Н. Я. Воспоминания. – 1990. Кн. 2. С. 390–391.
6. О р л о в а Р., К о п е л е в Л. Мы жили в Москве. М., 1990. С. 34.
7. Б у р ц е в В. Л. Преступление и наказание большевиков. Париж, 1938. С. 3, 7.
8. А х и е з е р А. С. Россия: критика исторического опыта. М., 1991. С. 125.
9. Там же. С. 187.

10. Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. Ч. 1. С. 138.
11. Самойлов Д. Памятные записки. М., 1995. С. 443.
12. Getty J. A. Origins of the Great Purges. The Soviet Communist Party Reconsidered, 1933–1938. Cambridge University Press, 1985; Rittersporn G. T. Stalinist Simplifications and Soviet Complications. Social Tensions and Political Conflicts in the USSR, 1933–1953. Philadelphia, 1991; Thurston R. W. Life and Terror in Stalin's Russia, 1934–1941. Yale University Press, 1996.
13. Getty J. R. "Expresses are not permitted": Mass Terror and Stalinist Governance in the Late 1930s // The Russian Review. 2002. Vol. 61. P. 122–126.
14. Жуков Ю. Н. Репрессии и Конституция СССР 1936 г. // Вопросы истории. 2002. № 1. С. 17–18.
15. Медведев Р. А. К суду истории. О Сталине и сталинизме // Медведев Ж. А., Медведев Р. А. Избранные произведения. М., 2002. Т. 1; Лельчук В. С. Апогей и крах сталинизма. Страницы российской истории. М., 1998. Ч. 1. С. 74, 97, 101–102; Волкогон Д. А. Этюды о времени. М., 1998. С. 172–173; Салганик Е. Л. Выродок истории. М., 2000.
16. Медведев Р. А. К суду истории. О Сталине и сталинизме. С. 427–428.
17. Хоскинг Дж. История Советского Союза 1917–1991. М., 1995. С. 200–201.
18. Мейер Г. Доклад Хрущева и кризис левого движения в США. М., 1957. С. 15–20.
19. Реабилитация. Политические процессы 30–50-х годов. М., 1991. С. 19, 23.
20. Антонов-Овсеенко А. Сталин без маски. М., 1990. С. 284.
21. Tucker R. Stalin in Power. The Revolution from Above? 1928–1941 / N.-Y. – L., 1990.
22. Ранкур-Лаферриер Д. Психика Сталина М., 1996; Радзинский Э. Сталин. М., 1997; Вайскопф М. Писатель Сталин. М., 2001.
23. Илизаров Б. С. Тайная жизнь Сталина. По материалам его библиотеки и архива. К историософии сталинизма. М., 2002.
24. Аллилуева С. Двадцать писем к другу. Нью-Йорк, 1968. С. 47, 130.
25. Верховцев И. Ленинские нормы партийной жизни. М., 1962. С. 29.
26. Стронг А. Л. Эра Сталина. М., 1957. С. 71.
27. Миронов Н. Р. Программа КПСС и вопросы дальнейшего укрепления законности и правопорядка. М., 1962. С. 7–8.
28. Троцкий Л. Д. Преданная революция. М., 1991. С. 94–95, 106, 107, 109, 110, 121–122, 127–129, 182, 185.
29. Орлов А. Тайная история сталинских преступлений. Нью-Йорк-Иерусалим-Париж, 1984. С. 49.
30. Кривицкий В. "Я был агентом Сталина..." М., 1991. С. 289.
31. Наш современник. 1992. № 6. С. 157.
32. Разгон Л. Непридуманное. М., 1991. С. 77.
33. Медведев Р. А. К суду истории. О Сталине и сталинизме. С. 413.
34. Там же. С. 413.
35. Клямкин И. Какая улица ведёт к храму? // Новый мир. 1987. № 11.
36. Федотов Г. П. Судьба и грехи России. Избр. статьи по философии русской истории и культуры. СПб., 1992. Т. 2. С. 86–87.
37. Кожин В. В. Россия. Век XX-й (1901–1939). М., 1999. С. 448.
38. Такер Р. Сталин у власти. История и личность. 1928–1941. М., 1997. С. 296–297.
39. Там же. С. 296.
40. Там же. С. 401–403.
41. Carr E. What is History? N.-Y., 1962. P. 90.
42. Янов А. Иваниана // Знание – сила. 1995. № 1.
43. Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. С. 414.
44. Левин М. Бюрократия и сталинизм // Вопросы истории. 1995. № 3. С. 26.
45. Хлевнюк О. В. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество. М., 1992. С. 9–10.
46. Там же. С. 10–31.
47. Коэн С. Бухарин. М., 1988. С. 410–411.
48. Медведев Р. А. К суду истории. О Сталине и сталинизме. С. 236–241; Антонов-Овсеенко А. В. Сталин и его время // Вопросы истории. 1989. № 4. С. 93–94; № 6. С. 101–102.
49. Хлевнюк О. В. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество. С. 31–45.
50. Лацис О. Р. Перелом. Опыт прочтения несекретных документов. М., 1990. С. 324–325.
51. Хлевнюк О. В. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество. С. 268.
52. Дейчер И. Пророк в изгнании. Лондон, 1963. С. 306.
53. Восленский М. С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М., 1991. С. 91–93.
54. Бурлацкий Ф. М. Мао Цзэдун "Наш коронный номер – это война, диктатура". М., 1976; Румянцева А. М. Истоки и эволюция "идей Мао Цзэдуна". М., 1972.
55. Красильщиков В. Звёздный час // Новый мир. 1986. № 10. С. 102.
56. Хлевнюк О. В. Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е годы. М., 1996. С. 226.
57. Наш современник. 1988. № 7.

58. Х л е в н ю к О. В. "Большой террор" 1937–1938 гг. как проблема научной историографии. С. 435.
59. Х а у с т о в В. Н. Развитие советских органов государственной безопасности: 1917–1953 гг. // *Cahiers du Monde russe*. Vol. 42/2–3–4. 2001. P. 370.
60. К е с т л е р А. Трагедия "стальных людей" // Литературная газета. 1988. № 31.
61. С е л ю н и н В. Истоки // *Новый мир*. 1988. № 5; К л я м к и н И. Больше-визм и сталинизм // *Политическое образование*. 1989. № 10; *Историки спорят*. М., 1989. С. 228–303.
62. Ц и п к о А. Истоки сталинизма // *Наука и жизнь*. 1988. № 11–12.
63. А р б у з о в Б. Право на сомнение // *Наука и жизнь*. 1989. № 3. С. 16.
64. Ц и п к о А. Насилие лжи, или Как заблудился призрак. М., 1990.
65. Ц и т . п о К о ж и н о в В. В. Россия. Век XX-й (1901–1939). М., 1999. С. 363.
66. Н и к о л а е в с к и й Б. И. Тайные страницы истории. М., 1995. С. 415–416.
67. С и р о т к и н В. Трагедия Коминтерна // *Московская правда*. 1989. 20 апреля.
68. Х а с к л и Ю. Российская адвокатура и Советское государство. М., 1993.
69. Н и к о л а е в с к и й Б. И. Тайные страницы истории. М., 1995. С. 196–197.
70. Н а з а р о в М. В. Тайна России. М., 1999. С. 112–115.
71. Ф е л ь с т и н с к и й Ю. Разговоры с Бухариным. М., С. 17.
72. Ч у е в Ф. Сто сорок бесед с Молотовым. М., 1991. С. 390.
73. K h l e v n i u k O. The Reasons for the "Great Terror": the Foreign-Political Aspect // *Russia in the Age of Wars. 1914–1945*. Milano, 2000. P. 159–170.
74. Х л е в н ю к О. В. "Большой террор" 1937–1938 гг. как проблема научной историографии. С. 448.
75. П л а т о н о в О. А. Тайная история России. XX век. Эпоха Сталина. М., 1997. С. 18–30.
76. Ц и т . п о : Л ю к с Л. Еврейский вопрос в политике Сталина // *Вопросы истории*. 1999. № 7. С. 42.
77. Х р у щ ё в Н. С. Воспоминания. Избранные фрагменты. М., 1997. С. 68.
78. В а к с б е р г А. Нераскрытые тайны. М., 1993. С. 103.
79. К р и ч е в с к и й Л. Ю. Евреи в аппарате ВЧК–ОГПУ в 20–е годы // *Евреи и русская революция*. М.-Иерусалим, 1999. С. 344.
80. С у д о п л а т о в П. Разведка и Кремль. Записки нежелательного свидетеля. М., 1996. С. 356–357.
81. К о с т ы р ч е н к о Г. В. Тайная политика Сталина. М., 2001. С. 132.
82. И в а н о в А. М. Логика кошмара. М., 1993. С. 77.
83. Там же. С. 80
84. К о н к в е с т Р. Большой террор. Флоренция. 1974. С. 35.
85. А г у р с к и й М. С. Идеология национал-большевизма. Париж, 1980; его же. *The Birth of Buelorussia* // *Times Literature Supplement*. 1972. 30 June.
86. Г о р и н о в М. М. Черты новой общественной системы // *История России*. XX век. М., 1996. С. 393–394.
87. К о ж и н о в В. В. Россия. Век XX-й (1901–1939). М., 1999. С. 364–400.
88. К о ж и н о в В. В. Победы и беды России. М., 2000. С. 49.